



Геннадій Ковальов

Про російські матюки

*Переклад з російської Олеси Остапенко**

Наскільки поширені матюки у Росії, не варто й мови. Ось бувальщина, яку розповів Всеволод Іванов:

Жил-был разбойник. Много он нагребил золота, серебра, драгоценных камней. Чует, смерть близка... А отдавать сокровища близким – жалко, все дураки. Он их решил закопать, клад устроить. “Ну, чего тебе закапывать? – говорят ему. – Разве от русского человека можно что-нибудь скрыть. Он все равно найдет” – “Я положу зарок” – “Какой же ты положишь зарок?” – “Я такой зарок положу, что пока существует русская земля, того клада не выкопят” Закопал он клад в твердую, каменистую почву и заклил зарокотом – тому получит клад, кто выроет его без единой матерщины!... И прошло тысяча лет и тысяча людей рыли тот клад, и не нашлось ни одного, кто бы не выматерился. Так он и лежит по сие время [Иванов 1978: 334].

Своєрідно висловився з приводу матюків А. П. Платонов:

В церковь входят,
снимают шапки,

* Опубл. російською мовою: *Ковалев Г. Ф.* Русский мат – следствие уничтожения табу // Культурные табу и их влияние на результат коммуникации: сб. науч. трудов / [редкол.: В. Т. Титов (отв. ред.) и др.]. – Воронеж: ВГУ, 2005. – С. 184–197.

но ругаются матом,
перекрестившись и вздохнув
[Платонов 2000: 25].

Російський поет-емігрант, говорячи про те, що все в житті можна покинути, залишає собі серед небагатьох речей рідну мову:

Оставлю Вам, долги простив, -
Вам эти пастбища и пажити,
А мне просторы и пути.
Да Ваш язык. Не знаю лучшего
Для сквернословий и молитв.
Он изумительный, – от Тютчева
До Маяковского велик.

[Несмелов 2001: 34].

О. С. Пушкін дуже шкодував з приводу цензорських купюр у “Борисі Годунові”: “Все это прекрасно; одного жаль – в “Борисе” моем выпущены народные сцены, да матерщина французская и отечественная...” (Лист П. А. Вяземському 2 січня 1831 р.). О. С. Пушкін вміло і зі смаком використовував російські матюки у своїх творах, наприклад в “Телеге жизни” Взагалі ж свою стратегію щодо “непристойної” лексики він лапідарно висловив у таких словах: *“Если уж ты пришел в кабак, то не прогневайся – какова компания, таков и разговор; ... А если ты будешь молчать с человеком, который с тобой разговаривает, то это с твоей стороны обида и гордость, недостойная доброго христианина”* (“Писатели, известные у нас под именем аристократов”). Часто йому доводилось звертатися до евфемізмів, які пом’якшували силу лайки. Так, обурюючись бездарним перекладом “Федри” Расіна М. Є. Лобановим, він писав: *“И об этом у нас шумят, и это называют наши журналисты прекраснейшим переводом известной трагедии г. Расина! Voulezvous decouvrir la trace de ses pas* [знайдіть сліди його кроків – Перекл.] – *надеешься найти*

Тезея жаркий след иль темные пути –

Мать его в рифму! Вот как все переведено” (Лист Л. С. Пушкіну, лютий 1824 р.).

Не цурався “міцних” слів і М. О. Некрасов. А. Ф. Коні згадував: *“За обедом, где из женщин присутствовала она одна (дружина Некрасова Г. К.), Некрасов, передававший какое-нибудь охотничье приключение или эпизод из деревенской жизни, прерывал свой рассказ и говорил ей ласково: “Зина, выйди, пожалуйста, я должен скверное слово сказать”, – и она, мягко улыбнувшись, уходила на несколько минут”* [Кони 1989: 203].

І. О. Бунін, коли йому було присвоєно звання почесного академіка, *“в благодарность решил поднести Академии – “Словарь матерных слов” – и очень хвастал этим словарем в присутствии своей жены, ”* [Чуковский 1991: 463]. Відомо, що для створення цього словника *“вывез он из деревни мальчишку, чтобы помогал ему собирать матерные слова и непристойные песни”* [Чуковский 1991: 464].

Матюки врятували життя І. О. Буніну в “прокляті” революційні роки. Ось як він це описував: *“А в полдень в тот же день запыхал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели бросить меня в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я матерными словами кинулся на орущую толпу”* [Бунин 1990: 83].

Про ставлення І. О. Буніна до матюків свідчать його спогади про Купріна: *“Ругался он виртуозно. Как-то пришел он ко мне. Ну, конечно, закусили, выпили. Вы же знаете, какая Вера Николаевна гостеприимная. Он за третьей рюмкой спрашивает: “Дамы-то у тебя приучены?” К ругательству, подразумевается. Отвечаю: “Приучены. Валяй!” Ну и пошел и пошел он валять. Соловьем заливается. Гениально ругался. Бесподобно. Талант и тут проявлялся. Самородок. Я ему даже позавидовал”* [Одоевцева 1989: 289]. Про “вольність” І. О. Буніна у висловах згадувала Н. М. Берберова. Після непристойного оповідання Буніна вона писала: *“Рассказывание подобных историй кончилось довольно скоро: после двух-трех раз, когда он произнес вслух и как-то особенно вкусно “непечатные” (впрочем, давно на всех языках, кроме русского, печатные) слова – он любил главным образом так называемые детские слова на г, на ж, на с и так далее, – ...он совершенно перестал “рисоваться” передо мной...”* [Берберова 1999: 293]. Вживав Бунін ненормативну лексику не лише для хизування: *“Однажды Г. В. Иванов и я, будучи в гостях у Бунина, вынули с полки томик стихов о Прекрасной Даме, он был весь испещрен нецензурными ругательствами, такими словами, которые когда-то назывались “заборными” Это был комментарий Бунина к первому тому Блока”* [Берберова 1999: 296].

З. О. Шаховська згадувала про те, як її в Парижі зустрів І. О. Бунін: *“Мы сели в такси, и по дороге Иван Алексеевич, с обычной своей остротой, принялся рассказывать все, что произошло в русском литературном Париже, выражаясь крепко и по-русски, о своих и моих братьях. Жаль, не было тогда еще кассет, чтобы сохранить неповторимую (и нецензурную) речь академика. А когда мы выходили из такси, то, обернувшись к нам с веселым лицом, шофер сказал: “Приятно было покатасть гордость нашей эми-*

грации. Я прямо заслушался – ох, и хорошо же Вы знаете русский язык!” – и отказался взять на чай” [Шаховская 1991: 204].

Відкидаючи думку О. Б. Гольденвейзера, що Л. М. Толстой ніколи не вживав матюків, І. О. Бунін писав: “...употреблял и даже очень свободно – так же, как все его сыновья и даже дочери, так же вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего по привычке, не придавая им никакого значения и веса” [Бунин 1967: 92]. Це підтверджується і спогадами О. М. Горького, який був присутній при розмові Л. М. Толстого та А. П. Чехова на прогулянці в Ялті: “Сегодня в миндальной роще он спросил Чехова:

- Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

- Я был неутомимый

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь” [Горький 1953: 182]. Пролетарський письменник тут же згадував про характерну мову Л. М. Толстого при першій зустрічі з ним: “С обычной точки зрения речь его была цепью “неприличных” слов. Я был смущен этим и даже обижен: мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо” [Горький 1953: 182].

А. А. Ахматова сама ніколи не лялалась, як і не вживала лайливих слів у своїй творчості, однак: “Не шокировали ее и ругательства, и Ардовы, мне кажется, даже находили вкус в том, чтобы в ее присутствии говорить все, что им приходит в голову” [Роскина 1989: 98].

Те саме можна було б сказати й про О. Е. Мандельштама, однак ось як описує дружина його реакцію на цензурні утиски: “В “Сухаревке” по моральным соображениям вычеркнули два слова: “только на сухой срединной земле, к которой привыкли, которую топчут, как мать, которую ни с чем не сравнить, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю” “Советский человек, – сказали ему, – свою мать уважает. Вспомните “Мать” Горького...” Мандельштам вообще не матюгался, но тут сказал нечто неповторимое” [Мандельштам 1999: 98].

Іноді грався матюками А. П. Платонов. Так, він обіграв слово *могущество* для визначення героя свого так і не написаного ро-

ману про Стратилата: *“Надо чтоб “ебущество” Полташкина “превратилось” в силу Жовова с другим “знаком”* [Платонов 2000: 105].

Не відстав від Платонова стосовно матері й В. В. Маяковський (“Про это”, 1923 р.):

Эй, ты!

Мать твою разнэп!

Замолоду лаявся і відомий письменник В. П. Астаф'єв. З гірким жалем колишній солдат зізнавався у цьому. Про родину своєї дружини він сказав: *“Отец ни разу в жизни их никого не ударил, ни разу матом не изругался. Это я уже восполнил пробел. Со мной она все услышала, и отец ее услышал от такого варнака, как я”* Одного разу рідним для нього матюком “оскоромився” і В. М. Шукшин. Його колега по ВДІКу Ю. В. Григор'єв згадує: *“А на маленькой сцене Шукшин поразительно играл Нагульнова и настолько вошел в роль, что в какой-то момент вдруг сочно выматерился. Такого взиковские стены еще не слышали. Мы все притихли. Но наша профессура промолчала”*

Любив міцне російське слівце і Наум Мандель (Коржавін), тому про нього ходив такий віршик:

Не ругался б Мандель матом,
Мандель был бы дипломатом.

[Сарнов 2002: 354].

На запитання журналіста: “Свого часу ви стали одним з перших письменників, хто використав у своїх книгах матюки. Навіщо? Щоб виділитися?” – Едуард Лимонов відповів: *“Чушь. Героями моих первых книг были люди в стесненных обстоятельствах, они находились на дне жизни. И поэтому изъяснялись не языком профессоров, а так, как весь народ”* [Цепляев 2004: 20].

Лайки активно досліджував відомий лінгвіст О. О. Реформатський. Про це згадує його дружина, письменниця Н. І. Ільїна: *“Наш язык, как известно, очень приспособлен для “сквернословий и молитв”, и пройти мимо этого факта Александр Александрович намерен не был – составлялся словарь сквернословий”* [Ільїна 1991: 569].

Спіраючись на свій військовий досвід, також писав про матюки і відомий філолог Ю. М. Лотман: *“Замысловатый, отборный мат – одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств”* [Лотман 1995: 14].

Вживання обценної лексики у нас завжди було привілеєм нижчих класів, хоча за радянського часу ми йшли до безкласового суспільства. Були навіть теорії, що російська людина ніби-то богобоязлива, а матюки нав'язані, мовляв, тюрками-іновірцями. Поет І. Шклярєвський у своїй поетичній бувальщині “Пир” обережно запитує читача:

А бранились теперешним матом
или с кислую вонью Орда
занесла его к нам в города?

Однак аналіз аналогічної лексики в сучасних слов'янських мовах свідчить про загальний слов'янський характер мату. Наприклад, словничок сербської лайливої фразеології, підготовлений Недельком Богдановичем, показує, що не тільки лексика, але й моделі обценних виразів у сербській і російській мовах дуже близькі, порівняйте: “У уста те жебем, Жебем те у дупу, Мајку ти жебем” [Богдановић 1998: 18, 19, 24]. Те ж можна сказати й про моделі лайливої (нецензурної) лексики словацької мови: “jebaŭ koho i bezpred; jebaŭ koho, čo” [Hochel 1993: 91], або польської: “jebać (kogo) “kopulować” [Tuftanka 1993: 37]. До речі, про польську лайку Є. Липняцька висловила так: “В Польщі є спеціалісти, здатні крити матом не повторюючись півгодини, але це вміння пов'язане більше з професією, ніж із національністю, і тут лідирують військові, водопровідники й лікарі. Правда, якщо поляк хоче вилаятися по-справжньому, він використовує російський матюк” [Липняцкая 2001: 68].

Багато в чому поширенню матюків сприяла не лише відсутність потрібного рівня культури, але й офіційна на них заборона. Заборонений плід солодкий, особливо для людей, які щойно входять у суспільне життя. Підліток, вживаючи нецензурну лексику, ніби долучається до кола “дорослих” людей, яким “за законом” дозволяється висловлюватися набагато вільніше, ніж молодим. З іншого боку, потужний потенціал непристойних слів у семантиці, вільне їх варіювання, чудова словотвірна розробленість дають змогу деяким людям, взагалі не виходячи за рамки матюка, висловити все, що вони побажають. У пригоді стають міміка, жест, інтонація, а також характерний ситуативний контекст.

Звідки ж виник російський матюк? Хто до нас його заніс? А ніхто нам його ніколи не приносив. Це наше рідне дітище, яке старанно приховується. Практично немає вітчизняних офіційних словників, у яких би матюки сусідили зі словниковими статтями високого стилю. Згадка про деякі слова такого типу є лише в словнику В. І. Даля (тільки в редакції Бодуена), та ще в такому

спеціальному словнику, як Етимологічний словник слов'янських мов (Праслов'янський лексичний фонд) [ЕССЯ]. Згадка про ці два словники вже про дещо свідчить: *дана лексика глибоко народна, давня і суто слов'янська*. Життя непристойних слів нагадує історію людського суспільства: людина народжується гола і аніскільки цього не соромиться, а якщо дозволяє клімат, то і все життя нічим себе не прикриває. У тих місцях, де людині необхідно через природні умови захищатися одягом, було вигадано, що голий – це надто непристойно. А. А. Ахматова, відзначивши, що греки своїх богів зображували голими, гнівно заявила: “*Считать наготу непристойной – вот это и есть похабство*” [Чуковская 1996: 107]. Та ж ситуація з одягом була потім повторена у слов'янських мовах і зі словами, які означали геніталії і процес народження нового покоління.

Загальнослов'янське дієслово **jebati/jebti* могло мати два значення: 1) бити, вдаряти і 2) обдурювати. Значення ці лише на перший погляд здаються зовсім різними. Насправді зв'язок між ними прямий: *можу стукнути*, *можу й обдурити*. В першому випадку буде боляче, у другому – прикро. Цікаво, що і в російській мові ці ж значення збереглися, сер.: *'jebanut'* – ‘ударити, стукнути’; *'objebat'* – ‘обдурити’. Ці значення збереглися практично в усіх слов'янських мовах, але цілком легітимно, а не зацензурно вони існують (і активно функціонують) у лужицьких мовах. Не будемо брати звичайні словники (типу словника Арношта Муки, який подібний до словника В. І. Даля в редакції Бодуена), візьмемо “офіційний” орфографічний словник верхньолужицької мови і знайдемо там таке: *jebačny* – ‘облудний’, *jebak* – ‘ошуканець’, *jebanje/jebanstwo* – ‘обман, шахрайство’, *jebać* – ‘обдурювати’ [Volkel 1981: 145]. Цікаво, що в словнику верхньолужицької мови, укладеному в 1693–1696 рр. Абрахамом Френцелем, корінь дієслова *jeb-* позначений як зовсім невинний, зі значенням ‘обдурювати’, ‘вводити в оману’ Тут же подається і семантика, яка в подальшому, можливо, вивела цей корінь в “непристойні”: не тільки ‘ошукуючий’ – *fraudo, fallo*, але й ‘той, хто помиляється’ – *erro*, тобто ‘той, хто знаходить помилковий притулок’ [Słownik 1978: 44]. Однак висловлення цих значень в даній формі східнослов'янські мови повністю табували внаслідок переходу лексика, яка виражала ці значення, до розряду інвективної. “Сороміцьке” значення дієслово **jebati/jebti* могло набути уже в загальнослов'янську епоху, доказом чому є наявність його у цілій низці слов'янських мов (болгарська, польська, сербська, чеська, всі східнослов'янські). Значення це в сучасній російській вербалі-

зувалося значною мірою через посередництво телевізійних перекладів словом *трахати* (ся).

Саме з цим значенням (і, певно, досить давно) дієслово **jebati/jebti* ввійшло в фразеологізм *job tvoju mat'*. До речі, це улюблений вираз нобелівського лауреата Й. Бродського: тільки в одній книзі [Волков 1998] знаменитий поет вжив цей вираз близько десяти разів. Правда, книга була зроблена із магнітофонного запису розмови двох чоловіків, але вийшла на дуже широку публіку.

Вираз цей можна віднести до дуже давнього періоду: кінець ери матриархату і формування патріархату. І значення його уже на той час було зовсім не сороміцьким, а швидше майновим. Той, хто *"поимел"* матір роду, ставав господарем роду. Тому давнє значення виразу *job tvoju mat'* необхідно було розуміти як: 'я тепер – ваш батько' або 'я тепер – господар всього, що вам належало'. Проникливий знавець історії слов'янської лексики Р. Брандт, зіставивши дієслово **jebati/jebti* з давньоіндійським *jabh (jabhati-te)*, зазначив: *"Как переходное значение для чешско-лужицкого слова приходится выставить "ругаться по матерному", предполагая существование матерщины у праславян и отказываясь от объяснения ея у русских и у сербов заимствованьем у татар и у турок"* [Брандт 1915: 355].

Найбільш популярним останнім часом виявилось припущення, що ранній вираз *job tvoju mat'* був образливий і замість гаданого "я" агент дії мав на увазі слово *"нес"* Про це говорить Б. О. Успенський, наводячи безліч прикладів, які все ж мало що доводять [Успенский 199: 109–126]. В. Ю. Михайлін вважає, що не у псові справа, а просто матюк – це чоловічий обценний код [Михайлин 200: 348].

Ми вважаємо, що це вже вторинне формування виразу, який аналізуємо. Швидше за все, первинним був вираз "я" Він зовсім не був образливим, хоча й означав саме парування. Однак означало воно не секс, не наругу як таку, а визначало лише владу, точніше посідання влади не в своєму роді.

Той же вислів із *псом* – давніший, він мав уже цілком визначену мету: образити увесь чужий рід, звідси вираз *сучі діти, сучий син*, польськ. *psia krewni*. (Певно, первинним терміном, і, звісно, не образливим, був *вовчиця*, а не *сука*. Це відображено і в легенді про капітолійську вовчицю, яка зростила Ромула і Рема). До речі, Собакевич у "Мертвих душах" М. В. Гоголя – той же "сучий син" Якщо розкласти прізвище *Собакевич*, то з'ясовується: *собака* ('сука') + *евич* ('син, нащадок') = 'сучий син'. Це вже епоха патріархату, образа таким чином наносилася не стільки жінці, скільки чоловікові, главі роду, – певно, тому відсутнє широке

вживання виразу “суча дочка” Не можна не погодитися при такій постановці питання із, здавалося б, парадоксальною думкою того ж Р. Брандта, що “*матерная брань коренится не в презрении к матерям, а в уважении: при первоначальном, сознательном ее употреблении, несомненно имелось в виду, что человек сильнее, чем личную обиду, почувствует обиду, нанесенную его матери*” [Брандт 1915: 356].

Зрозуміло, що при такому значенні дієслово **jebati/jebti* поступово стало переходити у розряд лайливих і тому надалі неухильно почало табуватися, особливо у східнослов'янських мовах.

Що ж стосується “непристойних” найменувань геніталій, то вони не запозичені із тюркських мов, а мають глибоке загальнослов'янське коріння. Назва чоловічого органу, як відомо, складається з трьох літер. І вона є однокореневою словам ‘хвіст’ та ‘хвоя’ із давнього кореню **xu* – з первинним значенням ‘відросток, паросток’. Перша фіксація цього слова в російській мові належить... німцям, які просто не могли не включити його до свого розмовника, причому додали праслов'янський синонім: “*Chuy. Aber. Kur. Meuster manek den schenkeln*” [Falowski 1994: 33]. А. Фаловський, дослідивши і опублікувавши найстаріші німецько-російські розмовники, відзначив, що слово *chuy* “... децю пізніше зафіксовано у *T. Фенне* (Fenne T. Low German Manual of Spoken Russian. Pskov 1607 // Russian-Low German Glossary. Copenhagen, 1985. Vol. III. P. 339): *gui (zyi) – mahns gemechte* (“чоловічі геніталії”) [Falowski 1996: 87]. Про лексему ж кур автор цілком справедливо пише: “Відноситься, без сумнівів, до праслов'янської епохи як *gallus* ‘півень’. Значення *penis* слід визнати вторинним по відношенню до ‘*gallus*’ [Falowski 1996: 87]. Далі А. Фаловський, спираючись на дані болгарської та інших південнослов'янських мов, робить висновок, що “уже праслов'яни використовували лексему *kur* у сексуальному значенні” [Falowski 1996: 87].

Назва ж жіночого статевого органу походить від загальнослов'янського дієслова **pi'sati*. Після падіння редукованого глухого *s* перед дзвінким *d* отримав озвінчення (*z*). У болгарських діалектах цим іменем часто називається будь-яка ущелина у скелі, із якої тече вода. Це такі гідронімічні назви, як Пизда, Пиздина Вода, Пиздиця, Пиздишка ряка [Балкански 1996: 36–37; Ангелова-Атанасова 1996: 338]. Найстаріша фіксація відзначена тим самим А. Фаловським у тому ж німецько-російському розмовнику і теж із синонімом: *Pisda. Aber. Manda meisterine manck den benen* (“*Pisda* або *manda* називається те, що в жінки між ногами”) [Falowski 1994: 33].

Стосовно лексеми *manda* польський дослідник категорично зазначив: “Манда є, поза усілякими сумнівами, запозиченням з польськ. *męda, menda*, зоол. ‘*phithirius pubis a. pediculus pubis, owad pęłokrywy wszowaty*’ (“лобкова воша, комаха з редукованими крилами”; *мандавошка* – прим.упор.) [Słownik 1902: 933]. Етимологічно пов’язане з прасл. *mando* ‘testiculus; jądrow’ (“мандо – ‘тестикулус’, ‘ядро’”) [Brückner 1927: 607; Fałowski 1996: 88].

Однак у російській мові крім цього слова є ще слово, яке означає взагалі статевий орган (найчастіше чоловічий) – *mude*. Щоправда, це слово первинно означало мошонку (чоловічі яєчка), звідси лайливе слово *tudak*, яке колись означало чоловіка з дуже великою мошонкою, яка заважала йому у господарських роботах. До речі, прізвище *Мудакови* було поширене у донських козаків [Корягин 1997].

І, нарешті, про те слово, яке зараз повсюдно заміняється на евфемізм “блін” Про нього і його походження добре сказав В. В. Колесов: “До речі, і відоме слово на позначення “*распутницы*”, за походженням – високий слов’янізм, і до XV ст. воно мало значення ‘брехун, обманщик’ (що пов’язано з загальним значенням кореня, того ж, що і в слові *зблуждение*” [Колесов 1991: 77]. Справді, у російській мові збереглося слово “блудити”, перше значення якого ‘зблукати, стояти на роздоріжжі і не знати правильної дороги’. Друге ж значення його вже тілесне – буквально ‘жити розпусно’. Польська мова теж зберегла первинне значення цього кореня: *bląd* – ‘помилка’, *bląkać* – ‘блукати, бродити без мети’, звідси порівняйте рос. “блукати”, *blędny* – ‘помилковий, невірний’ і *blędnik* – ‘лабіринт, помилковий або незрозумілий шлях’. Далі В. В. Колесов говорить про проблему фіксації цього слова у словниках: “У прямому значенні воно використовувалося довго, але в часи біронівщини зникло з книг як слово непристойне. Академічні словники його не виключають, але словник російської мови XVIII ст. дає його з усіма похідними, із застереженням, що після 30-х років воно стало непристойне” [Колесов 1991: 78]. Однак у народі це слово функціонує повнокровним життям. Використовується воно у двох значеннях: 1) розпусна жінка, 2) просто вигук, позбавлений будь-якого сенсу, що повторюється через слово. Тому цілком закономірно прозвучала переможна реляція капітана В. Макова про дійсно перше встановлення червоного полотнища над ще не зовсім захопленим рейхстагом: “*Куда водружатъ? На фронтоне увидели конную женскую статую. В ее корону знамя и установили. “Воткнули в голову какой-то немецкой б...” – лаконично доложил по рации капитан*” [Осипов 2003: 6].

Отже, вся “погана” лексика – споконвіку рідна, слов’янська, пов’язана тисячами ниток із загальнонаціональним лексичним багатством усіх слов’янських мов, тому негоже лінгвістам відвертатися від неї.

Без сумніву, матюк має бути виключений із звичайної мови у нашому суспільстві. Сфера суто чоловічого застосування цього емоційного мовного засобу – питання лише характеру стосунків між мовцями. Щодо лайки цілком можливо застосувати слова Арсенія Тарковського, сказані з іншого приводу: *“Впрочем, дурных самих по себе слов в толковом словаре нет. Я уже как-то имел случай рассказать, что моя мать полагала, будто мусора не существует, а есть вещи не на своем месте. Пух на полу – мусор, а в подушке – свойственное ей наполнение”* [Тарковский 1991: 223].

І, нарешті, дуже оригінально, виходячи з реального життя, освятив матюк відомий професор-літературознавець П. О. Ніколаєв, ветеран Другої світової: *“Вот утверждают, дескать, на войне ребята бросались в атаку, выкрикивали: “За Родину! За Сталина” Но во время бега невозможно произнести этой фразы – дыхания не хватит. Бежит мальчик семнадцатилетний и знает, что погибнет. После каждой такой атаки во взводе погибала половина. И они выкрикивали мат. Они спасались этим, чтобы не сойти с ума”*

Що ж стосується вживання ненормованої лексики у художній літературі, то це справа художнього смаку письменника, його почуття міри. Візьмемо хоча б Юза Алешковського, який віртуозно вживає лайку в творчості. Він так охарактеризував своє ставлення до матюків: *“Я думаю, что так называемые матерные слова поначалу-то были словами не ругательными, а сакральными, священными. Поскольку органы наши, гениталии мужчин и женщин, – они же воспроизводят бытие будущих поколений. И прапрапрачеловек не мог не испытывать восторга и ужаса перед воспроизводительной родовой деятельностью своей. По важности выполняемых функций половые органы – это number one. Я даже считаю, что их деятельность важнее деятельности мозга.*

И это остается загадкой, – почему слова сакральные, священные, имевшие несомненное отношение к фаллическому культу и культу Матери-земли, стали словами запрещенными, презираемыми и тем не менее употребляемыми” [Шигарева 1999: 19].

Юз Алешковський, мабуть, має рацію. Справді, лексика, яка означає геніталії, в епоху язичництва була сакральною. Знаменитий слов’янський бог Світовид (Збруцький ідол) був виконаний у вигляді величезного фалоподібного монументу. З переходом до християнства святині язичництва були знищені, знакові системи

різко змінилися, і лексика, яка означала фалос, виявилася табуованою, непристойною.

Він же так визначив своє ставлення до лайки в літературі: *“Все-таки я реаліст, і якщо персонажі изъясняются именно так, иначе их речь себе представить трудно. Особенно если это урка, или хулиган, или руководитель, который только матом и может поднять в народе трудовой энтузиазм, то попытки изменить их речь я бы считал плевком своей музой. Никогда в жизни я себе этого не позволял”* [Шигарева 1999].

Деякі сучасні письменники говорили про те, що якщо матюк буде звичайним у літературі, то він поступово зникне. Ще раніше про це ж писав Вс. Іванов: *“Наш народ – бунтарь. Вот упрекают нас в том, что мы любим ругаться матерно. Да, и действительно ругаются много. И неслыханно много ругались на фронте. А почему? Бунтует, отрекается, ничего святого – даже “заголил на березке подол”, не признает запрещенного. А начини завтра выпускать, предположим, газету, – все газеты, где матерщина была б через каждую фразу, поморщились бы дня три – и перестали б ругаться”* [Іванов 1978: 470].

В усіх наших великих письменників завжди, окрім цензури, був і свій внутрішній редактор – совість, який не дозволяв надмірності у лексичі, як би того не хотілося. Той самий А. П. Чехов у листі дорікав О. М. Горькому за, на його думку, не зовсім пристойні слова: *“За сим еще одно: Вы по натуре лирик, тембр у Вашей души мягкий. Если бы Вы были композитором, то избегали бы писать марши. Грубить, шуметь, язвить, неистово обличать – это несвойственно Вашему таланту. Отсюда Вы поймете, если я посоветую Вам не пощадить в корректуре сукиных сынов, кобелей и пшибздииков, мелькающих там и сям на страницах “Жизни”* (3 вересня 1899 р.).

Ангелова-Атанасова 1996 – Ангелова-Атанасова М. Топонимия на Горнооряховско. Велико Търново, 1996.

Балкански 1996 – Балкански Т. Западнородопските власи: Етнос. Етнонимия. Ономастика. – Велико Търново, 1996.

Берберова 1999 – Берберова Н. Н. Курсив мой. – М., 1999.

Богдановић 1998 – Богдановић Н. И ја теби. Избор из псовачке фразеологије. – Ниш, 1998.

Брандт 1915 – Брандт Р. Кое-что о нескольких словах // Русский филологический вестник. – 1915. – № 3/4.

Бунин 1990 – Бунин И. А. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. – М., 1990.

Бунин 1967 – Бунин И. А. Освобождение Толстого // Собр. соч. в 9 т. – М., 1967. – Т. 9.

- Волков 1998* – Волков С. Диалоги з Йосифом Бродским. – М., 1998.
- Горький 1953* – Горький А. М. О литературе. – М., 1953.
- Даль 1909* – Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – Т. 4. – СПб.-М., 1909.
- Иванов 1978* – Иванов В. В. Собр. соч. в 8 т. – М., 1978. – Т. 8.
- Ильина 1991* – Ильина Н. И. Дороги и судьбы. – М., 1991.
- Колесов 1991* – Колесов В. В. Язык города. – М., 1991.
- Кони 1989* – Кони А. Ф. Воспоминания о писателях. – М., 1989.
- Корягин 1997* – Корягин С. В. Непристойные фамилии у донского казачества // Летопись историко-родословного общества в Москве. – 1997. – № 4–5.
- Липняцкая 2001* – Липняцкая Е. Эти странные поляки. – М., 2001.
- Лотман 1995* – Лотман Ю. М. Не-мемуары // Лотмановский сборник. – Вып. 1. – М., 1995.
- Мандельштам 1999* – Мандельштам Н. Я. Вторая книга. – М., 1999.
- Михайлин 2000* – Михайлин В. Ю. Русский мат как мужской обценный код: проблема происхождения и эволюции статуса // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 43.
- Несмелов 2001* – Несмелов А. “Переходя границу” // Поэзия русского зарубежья. – М., 2001.
- Одоевцева 1989* – Одоевцева И. В. На берегах Сены. – М., 1989.
- Осипов 2003* – Осипов С. Егоров и Кантария были не первыми // Аргументы и факты. – 2003. – № 19.
- Платонов 2000* – Платонов А. П. Записные книжки. Материалы к биографии. – М., 2000.
- Роскина 1989* – Роскина Н. “Как будто прощаюсь снова...” // Звезда. – 1989. – № 6.
- Сарнов 2002* – Сарнов Б. Юмористические записи и выписки // Вопросы литературы. – 2002. – № 3.
- Тарковский 1991* – Тарковский А. А. О поэтическом языке // Собр. соч. в 3 т. – М., 1991. – Т. 2.
- Успенский 1996* – Успенский Б. А. Избранные труды. В 3-х т. – М., 1996. – Т. 2.
- Цепляев 2004* – Цепляев В. Эдуард Лимонов: “Да положил я на читателя!” // Аргументы и факты. – 2004. – № 20.
- Чуковская 1996* – Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. – СПб. – Харьков, 1996.
- Чуковский 1991* – Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. – М., 1991.
- Шаховская 1991* – Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. – М., 1991.
- Шигарева 1999* – Шигарева Ю. Мат – слова священные // Аргументы и факты. – 1999. – № 38.
- ЭССЯ* – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. – Вып. 8. – М., 1981.

Brükner 1927 – Brükner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. – Kraków, 1927.

Falowski 1996 – Falowski A. “Ein Rusch Boech...” rosyjsko-niemiecki anonimowy słownik i rozmówki z XVI wieku. Analiza językowa. – Kraków, 1996.

Falowski 1994 – Falowski A. “Ein Rusch Boech...” ein russisch-deutsches anonymes Wörter-und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jarhundert. – Köln, 1994.

Hochel 1993 – Hochel B. Slovník slovenského slangu. – Bratislava, 1993.

Słownik 1978 – Słownik górnołużycki Abrahama Frencla (1693–1696) / Opracował St. Stachowski. – Wrocław, 1978.

Słownik 1902 – Słownik języka polskiego. – Warszawa, 1902. – Ò. II.

Tuftanka 1993 – Tuftanka U. Zakazane wyrazy: Słownik sprośności i wulgaryzmów. – Warszawa, 1993.

Vólkel 1981 – Vólkel P. Prawopisny slownik hornjoserbskeje rěče. – Budyšin, 1981.